



## *ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ*

Отчего в нашу эпоху так возросло количество психических заболеваний и нервных расстройств? Отчего массовые психозы охватывают целые народы? Отчего в политике, журналистике, культуре столько явно выраженных ненормальностей, шизофренических отклонений? В чем символизм сумасшествия и есть ли в нем скрытый смысл?

На эти и многие другие вопросы, связанные с природой патологических психических явлений в современном мире, пытались ответить многие выдающиеся мыслители прошлого века, в их числе К.Г. Юнг и М. Фуко. Они искали корни как массовых, так и личностных психических расстройств, используя аппарат философии, психологии и психиатрии, исследовали данные судебно-медицинских экспертиз.

Несмотря на схожую проблематику работ Юнга и Фуко, их подход к решению поставленных вопросов все же отличался. Карл Густав Юнг большее внимание уделял глубинным процессам мировой цивилизации. Он считал, что забвение или искажение западным обществом основополагающих принципов человеческого существования ведет к искажению заложенных в душе каждого человека «архетипов коллективного бессознательного», т.е. тех древнейших представлений о мире, которые свойственны всем людям. Расплатой за подобное пренебрежение становится, в том числе, шизофрения, вызванная аффектами, которые неизбежно подстерегают человека в обществе с потерянными моральными ориентирами.

«В то время как в области нормы и неврозов острый аффект проходит сравнительно быстро, а хронический не слишком сильно расстраивает общую ориентацию сознания и дееспособность, шизофренический комплекс оказывается во много раз сильнее. Его фиксированные проявления, автономия и деструктивность овладевают сознанием вплоть до отчуждения и разрушения личности», — писал Юнг, основываясь на результатах своей многолетней практики в психиатрической клинике.

«Сегодня, как никогда прежде, становится очевидным, — продолжает он, — что опасность, всем нам угрожающая, исходит не от природы, а от человека, она коренится в психологии личности и психологии массы».

В мире, лишенном духовности, люди стремятся к призрачным целям, достижение которых не может дать чувства душевной гармонии, — более того, этот бег за призрачными монстрами разрушает психику. «Мне часто приходилось видеть, как люди становились невротиками, оттого что довольствовались неполными или неправильными ответами на те вопросы, которые ставила им жизнь. Они искали успеха, положения, удачного брака, славы, а оставались несчастными и мучились от неврозов, даже достигнув всего, к чему так стремились. Этим людям не хватает духовности, жизнь их обычно бедна содержанием и лишена смысла», — отмечает Юнг.

Человек стал заложником потребительской цивилизации, которая, предоставляя ему различные блага, комфорт и удовольствия, требует от него взамен его душу: «Опережающий рост качества, связанный с техническим прогрессом, с так называемыми «gadgets»<sup>1</sup>, естественно, производит впечатление, но лишь вначале, позже, по прошествии времени, они уже выглядят сомнительными, во всяком случае купленными слишком дорогой ценой. Они не дают счастья или благоденствия, но в большинстве своем создают иллюзорное облегчение...»

---

<sup>1</sup> Приспособления (англ.).

В результате происходит то, что Юнг называл «демонизацией мира». На смену свергнутым светлым божествам приходят черные кумиры и демоны. Один из них — культ сексуальности, отвергающий, по сути, любовь как высшее чувство и обращенный к животным инстинктам человеческой природы. Это культ привлекателен, но, по словам Юнга, «и этот кумир оказался не менее капризным, придирчивым, жестоким и безнравственным», чем культ технического прогресса и потребления.

Другой демон современности — массовая культура. Она, собственно, и занимается пропагандой того образа жизни, который соответствует понятиям потребительской цивилизации. Юнг сравнивает эпоху массовой культуры с периодом установления господства Римской империи, когда «воплощенная в божественном цезаре власть Рима, сметавшая все на своем пути, лишала отдельных людей и целые народы их права на привычный образ жизни, на духовную независимость». Как тогда, так и сейчас следствием подобного духовного нивелирования являются надежды «на новое пришествие, бесконечное ожидание мессии — спасителя».

Еще один черный кумир нашего времени — «абсурдные политические течения и социальные идеи, отличительным признаком которых является духовная опустошенность». И это вполне закономерно, пишет Юнг, потому что «в эпоху, когда человечество стремится исключительно к расширению жизненного пространства и увеличению — а tout prix<sup>1</sup> рационального знания, требовать от человека осознания своей единственности и ограниченности по меньшей мере претенциозно. Ограниченность и единственность — синонимы, без них ощущение бесконечности (равно как и осознание ее) невозможно, остается лишь иллюзорная идентификация с ней, которая приводит к помешательству на больших числах и жажде политического могущества».

---

<sup>1</sup> Любой ценой (*фр.*).

Таким образом, «демонизация мира» неизбежно заканчивается для тех, кто поддался ей, душевным недугом, вызванным внедрением «демонических» элементов в психическое сознание. Но не лучше обстоит дело и с тем, кто пытается не попасть под влияние демонов современности, но не может найти надежной опоры для противостояния с ними.

«Тот, кто лишился исторических символов и не способен удовлетвориться “эрзацем”, — отмечает Юнг, — оказывается сегодня в тяжелом положении. Перед ним зияет ничто, от которого он в страхе отворачивается. Человеческие объяснения отказываются служить, так как переживания возникают по поводу столь бурных жизненных ситуаций, что к ним не подходят никакие истолкования. Это момент крушения, момент погружения к последним глубинам, как верно заметил Апулей, наподобие самопроизвольного ума. Здесь не до искусного выбора подходящих средств; происходит вынужденный отказ от собственных усилий, природное принуждение. Не морально принаряженное подчинение и смирение по своей воле, а полное, недвусмысленное поражение, сопровождаемое страхом и деморализацией».

Таковы безрадостные выводы Карла Густава Юнга о перспективах жизни человека в современном мире. Альтернативу западной цивилизации философ видел в возвращении к истокам, к временам, когда «коллективное бессознательное» через мифологию определяло жизнь общества. Большие упования Юнг возлагал на культуру Востока, по мнению мыслителя, сохранившую многое из подобных мифологизированных представлений.

\* \* \*

Размышления о причинах безумия стали одной из главных тем и в творчестве Мишеля Фуко. «Почему западная культура отбросила в сторону своих рубежей то, в чем она вполне могла узнать самое себя, то, в чем она себя действительно узнава-

ла?» — вопрошал он. Фуко приходил к выводу, сходному с выводами Фрейда о том, что безумие — это расплата за прогресс, устанавливающий определенные рамки для подсознательных процессов человеческой психики. В итоге в ней появляются отклонения, которые символично отражают состояние современного общества.

«Нет ни одной культуры в мире, где было бы все позволено, — пишет Фуко. — Давно и хорошо известно, что человек начинается не со свободы, но с предела, с линии непреодолимого. Именно из-за этого безумие явилось не как уловка скрытого значения, но как восхитительное хранилище смысла».

Получается, что чем дальше развивается цивилизация, тем больше безумных она порождает. Естественно, следствием этого является ее дегенерация, и Фуко в своих работах приводит многочисленные свидетельства нарастающего безумия современного мира, говорит о том, что не случайно растет число преступлений, совершенных ненормальными, и параллельно ускоренными темпами развивается судебная психиатрия, ставшая чуть ли не одной из главных наук в наши времена. Фуко относится к этому как к трагическому, но закономерному исходу, он отмечает, что «сознание является видимым, потому что оно может перемежаться, исчезать, отклоняться от своего течения, быть парализованным; общества живут, так как в них одни — чахнувшие больные, а другие — здоровы; раса есть живое, но дегенерирующее существо, как, впрочем, и цивилизации, ибо можно было констатировать, сколько раз они умирали».

Философ старается выделить основные типы сумасшествия, показывает, как они воспринимались и преломлялись в общественном сознании и науке. Его экскурс в историю безумия потрясает жуткими сценами преступлений, совершенных ненормальными, но Фуко справедливо замечает, что в былые времена эти страшные злодеяния вызывали в обществе ощущение чего-то запредельного, не виданного по своей жестокости, а ныне подобные сцены становятся чуть ли не обычным сюжетом хроники новостей, фильмов и т.д.

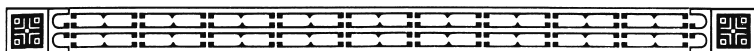
Следуя логике Фрейда, которую, как уже сказано, в целом Фуко принимал, он утверждал, что огромную роль в развитии сумасшествия играют сексуальные факторы. Он призывал к снятию всяческих ограничений в этой области и был одним из апологетов «сексуальной революции» на Западе. Мишель Фуко вел довольно свободный образ жизни, увлекался гомосексуализмом и садомазохизмом. В итоге он стал жертвой «монстра сексуальности», как определил это явление Юнг, и умер от СПИДа в 1984 году, став, пожалуй, первым из знаменитостей, погибших от этой болезни.

*Карл Густав Юнг*

**АФФЕКТЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ**







## ЧТО ОЗНАЧАЕТ — БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ?

*(из книги «Воспоминания, сновидения, размышления»)*

Человек не в состоянии сравнить себя ни с одним существом, он не обезьяна, не корова и не дерево. Я — человек. Но что это означает — быть человеком? Я отдельная часть безграничного Божества, но при этом я не могу сопоставить себя ни с животным, ни с растением, ни с камнем. Лишь мифологические герои обладают большими возможностями, нежели человек. Но как же человеку составить о себе мнение?

Каждому из нас, предположительно, свойствен некий психический процесс, который нами не контролируется, а лишь частично направляется. Потому мы не в состоянии вынести окончательного суждения о себе или о своей жизни. Если бы мы могли — это означало бы, что мы знаем, но такое утверждение — не более чем претензия на знание. В глубине души мы никогда не знаем, что же на самом деле произошло. История жизни начинается для нас в случайном месте — с некой определенной точки, которую мы запомнили, и уже с этого момента наша жизнь становится чрезвычайно сложной. Мы вообще не знаем, чем она станет. Поэтому у истории нет начала, а о конце ее можно лишь высказывать смутные предположения.

Человеческая жизнь — опыт, не внушающий доверия; только взятый во множестве, он способен произвести впечатление. Жизнь одного человека так быстротечна, так недостаточна, что даже существование и развитие чего-либо является в буквальном смысле чудом. Я осознал это давно, еще будучи студентом-медиком, и до сих пор удивляюсь, что не был уничтожен еще до появления на свет.

Жизнь всегда казалась мне похожей на растение, которое питается от своего собственного корневища. В действительности же она невидима, спрятана в корневище. Та часть, что появляется над землей, живет только одно лето и потом увядает. Ее можно назвать мимолетным видением. Когда думаешь о концах и началах, не можешь отделаться от ощущения всеобщей ничтожности. Тем не менее меня никогда не покидало чувство, что нечто живет и продолжается под поверхностью вечного потока. То, что мы видим, лишь крона, и после того как она исчезнет, корневище останется.

\* \* \*

...Чем больше я читал и чем ближе знакомился с городской жизнью, тем сильнее чувствовал, что та реальность, которую я пытаюсь постичь, подразумевает совсем иной порядок вещей, нежели тот маленький мир, в котором я вырос, с его реками и лесами, людьми и животными, с маленькой деревней, что купалась в солнечных лучах, с ветрами и облаками, с темными ночами, когда происходят странные вещи. Это была не просто точка на карте, а «Божий мир», полный тайного смысла. Но люди ничего о нем не знали, и даже животные почему-то утратили этот смысл. Я отыскивал это неведение в печальном, потерянном взгляде коров, в безнадежных глазах лошадей, в преданности собак, которые так отчаянно цеплялись за место возле человека, даже в поведении самоуверенно гуляющих котов, которые жили в амбарах и там же охотились.

Люди, думалось мне, походили на животных и, казалось, так же не осознавали себя. Они смотрели на землю и на деревья лишь затем, чтобы увидеть, можно ли это использовать и для чего. Как и животные, они сбивались в стадо, спаривались и боролись между собой, жили в этом Божьем мире и не видели его, не осознавая, что он един и вечен, что все в нем уже родилось и все уже умерло.

Я любил всех теплокровных животных, потому что они похожи на людей и разделяют наше незнание. Я любил их за то, что



К.Г. Юнг

у них была душа, и, мне казалось, они все понимали. Им, как и нам, считал я, доступны печаль и радость, ненависть и любовь, голод и жажда, страх и вера, просто они не умеют говорить, не могут осознавать и неспособны к наукам. И хотя меня, как и других, восхищали успехи в развитии наук, я видел, что знание усиливает отчуждение человека от Божьего мира, способствует вырождению, тому, чего в животном мире нет и быть не может. К животным я испытывал любовь и доверие, в них было некое постоянство, которого я не находил в людях.

Насекомых я считал «ненастоящими» животными, а позвоночные для меня являлись лишь какой-то промежуточной стадией на пути к насекомым. Создания, относившиеся к этой категории, предназначались для наблюдения и коллекционирования, они были интересны в своем роде, но не имели человеческих свойств, а были всего-навсего проявлением безличной жизни и стояли ближе к растениям, нежели к человеческим существам.

Растения находились у самого основания Божьего мира — вы словно заглядывали через плечо Создателя, когда Он, думая, что Его никто не видит, мастерил игрушки и украшения. Тогда как человек и «настоящие» животные, будучи независимыми частицами Божества, могли жить, где хотят, — растения (хорошо это или плохо) были привязаны к месту. Они выражали не только красоту, но и идею Бога, не имели своих целей и не отклонялись от заданных. Особенно таинственными, полными непостижимого смысла казались мне деревья, поэтому лес был тем местом, где я сильнее всего ощущал страх и трепет Божьего мира, его глубокое значение и благо всего, в нем происходящего.

Это ощущение усилилось после того, как я увидел готический собор. Но там безграничность космоса и хаоса, весь смысл и вся непостижимость сущего, все безличное и механическое было воплощено в камне, одухотворенном и исполненном тайны.

\* \* \*

...Прочитав краткое введение в историю философии, я получил некоторое представление обо всем, что уже было передумано разными философами до меня. Мне было приятно узнать, что во многих интуитивных ощущениях я имел исторических предшественников. Ближе других оказались мне греки, особенно Пифагор, Гераклит, Эмпедокл и Платон (хотя его «Диалоги» показались чересчур растянутыми). Они были столь же прекрасны и академичны, как те запомнившиеся мне фигуры в античной галерее, но и столь же далеки. Впервые я почувствовал дыхание жизни у Мейстера Экхарта, но так и не понял его. Я остался равнодушен к средневековой схоластике, и аристотелевский интеллектуализм святого Фомы показался мне безжизненным, как пустыня. «Все они, — рассуждал я, — хотят воспроизвести нечто при помощи логических кунштюков — нечто такое, чего изначально в них самих нет, чего они не чувствуют и о чем в действительности не имеют ни малейшего представления. Они хотят умозрительно доказать себе существование веры, тогда как на самом деле она может явиться лишь через опыт». Они походили на людей, которые понаслышке знали, что слоны существуют, но сами никогда не видели ни одного, пытаясь с помощью умозаключений доказать, что согласно логике такие животные должны существовать, как оно и есть на самом деле. По понятным причинам скептицизм XVIII века не был мне близок. Гегель напугал меня своим языком, вымученным и претенциозным. Я не испытывал к нему никакого доверия, он показался мне человеком, который заключен в тюрьму из собственных слов и который с важным видом прохаживается по камере.

Главной удачей моих исследований стал Шопенгауэр. Он был первым, кто рассказал мне о настоящих страданиях мира, о путанице мыслей, страстях и зле — обо всем том, чего другие почти не замечали, пытаясь представить мир либо как

всеобщую гармонию, либо как нечто само собой разумеющееся. Наконец я нашел философа, у которого хватило смелости увидеть, что не все было к лучшему в самих основаниях мира. Он не рассуждал о совершенном благе, о мудром провидении, о космической гармонии, он прямо сказал, что все беды человеческой истории и жестокость природы происходят от слепоты творящей мир Воли. И я видел подтверждение этому еще в детстве — больных и умирающих рыб, чесоточных лис, замерзших и погибших от голода птиц, т.е. те жестокие трагедии, которые скрываются под цветущим покровом луга: земляных червей, заеденных муравьями, насекомых, разрывающих друг друга на куски, и т.д. Мой опыт наблюдения над людьми тоже научил меня чему угодно, только не вере в изначально присущие человеку доброту и нравственность. Я достаточно хорошо узнал себя и видел, что я лишь в какой-то степени, условно говоря, отличаюсь от животных.

Мрачную шопенгауэровскую картину мира я принимал, но с предлагаемым им решением проблемы не мог согласиться. Я был убежден, что под Волей философ в действительности имеет в виду Бога, Создателя, и утверждает, будто Бог слеп. По опыту мне было известно, что Бог не обижался на подобное богохульство, а напротив, мог даже поощрять его, как поощряет Он не только светлые, но и дурные, темные стороны человеческой природы, поэтому суровый приговор Шопенгауэра я принял спокойно. Но крайне разочаровала меня его мысль о том, что интеллекту достаточно превратить слепую Волю в некий образ, чтобы заставить ее повернуть вспять. Возможно ли это, если она слепа? Почему она должна непременно повернуть вспять? И что такое интеллект? Он — функция человеческого духа, не все зеркало, а лишь его осколок, который ребенок подставляет солнцу в надежде ослепить его. Для меня было загадкой, почему Шопенгауэр довольствовался такой слабой идеей, это выглядело абсолютно неправдоподобным.

Я детально занялся Шопенгауэром и остановился на его полемике с Кантом, обратившись к работам последнего, и в пер-

вую очередь к его «Критике чистого разума». Это стоило мне значительного серьезного напряжения, но в конце концов мои усилия оказались не напрасными, потому что я открыл, как мне казалось, фундаментальный просчет в системе Шопенгауэра. Он совершил смертный грех, переводя в некий реальный план категорию метафизическую, чистый ноумен, «вещь в себе». Я понял это благодаря кантовской теории познания, которая просветила меня гораздо более, нежели «пессимистическое» мироощущение Шопенгауэра.

\* \* \*

...О Ницше тогда говорили всюду, причем большинство воспринимало его враждебно, особенно «компетентные» студенты-философы. Из этого я заключил, что он вызывает неприязнь в академических философских кругах. Высшим авторитетом там считался, разумеется, Якоб Буркхардт, чьи критические замечания о Ницше передавались из уст в уста. Более того, в университете были люди, лично знававшие Ницше, которые могли порассказать о нем много нелестного. В большинстве своем они Ницше не читали, а говорили в основном о его слабостях и чудачествах: о его желании изображать «денди», о его манере играть на фортепиано, о его стилистических несуразностях — о всех тех странностях, которые вызывали такое раздражение у добропорядочных жителей Базеля. Это, конечно, не могло заставить меня отказаться от чтения Ницше, скорее наоборот, было лишь толчком, подогревая интерес к нему и порождая тайный страх, что я, быть может, похож на него, хотя бы в том, что касалось моей «тайны» и отверженности. Может быть, — кто знает? — у него были тайные мысли, чувства и прозрения, которые он так неосторожно открыл людям. А те не поняли его. Очевидно, он был исключением из правил или по крайней мере считался таковым, являясь своего рода *lusus naturae*<sup>1</sup>, чем я не

---

<sup>1</sup> Игра природы (*лат.*).



желал быть ни при каких обстоятельствах. Я боялся, что и обо мне скажут, как о Ницше, «это тот самый...» Конечно, он уже профессор, написал массу книг и достиг недостижимых высот. Он родился в великой стране — Германии, в то время как я был только швейцарцем и сыном деревенского священника. Он изъяснялся на изысканном Hochdeutsch, знал латынь и греческий, а может быть, и французский, итальянский и испанский, тогда как единственный язык, на котором с уверенностью говорил я, был Waggis-Baseldeutsch. Он, обладая всем этим великолепием, мог себе позволить быть эксцентричным. Но я не мог себе позволить узнать в его странностях себя.

Опасения подобного рода не остановили меня. Мучимый непреодолимым любопытством, и я, наконец, решился. «Несвоевременные мысли» были первой книгой, попавшей мне в руки. Увлечшись, я вскоре прочел «Так говорил Заратустра». Как и гётевский «Фауст», эта книга стала настоящим событием в моей жизни... В Заратустре, несомненно, было что-то болезненное. Ницше говорил наивно и неосторожно о том, о чем говорить не должно, говорил так, будто это было вполне обычной вещью... Ницше, как мне казалось, двигала детская надежда найти людей, способных разделить его экстазы и принять его «переоценку ценностей». Но он нашел только образованных филистеров и оказался в трагикомическом одиночестве, как всякий, кто сам себя не понимает и кто свое сокровенное обнаруживает перед темной, убогой толпой. Отсюда его напыщенный, восторженный язык, нагромождение метафор и сравнений — словом, все, чем он тщетно стремился привлечь внимание мира, сделаться внятным для него. И он упал — сорвался, как тот акробат, который пытался выпрыгнуть из себя. Он не ориентировался в этом мире — «dans ce meilleur des mondes possibles»<sup>1</sup> — и был похож на одержимого, к которому окружающие относятся предупредительно, но с опаской. Среди моих друзей и знакомых нашлись двое, кто открыто объявил

---

<sup>1</sup> Лучшем из возможных миров (*фр.*)

себя последователями Ницше, — оба были гомосексуалистами. Один из них позже покончил с собой, второй постепенно опустился, считая себя непризнанным гением. Все остальные попросту не заметили «Заратустры», будучи в принципе далекими от подобных вещей.

Как «Фауст» в свое время приоткрыл для меня некую дверь, так «Заратустра» ее захлопнул, причем основательно и на долгое время. Я очутился в шкуре старого крестьянина, который, обнаружив, что две его коровы удавились в одном хомуте, на вопрос маленького сына, как это случилось, ответил: «Да что уж об этом говорить». Я понимал, что, рассуждая о никому неизвестных вещах, ничего не добьешься. Простодушный человек не замечает, какое оскорбление он наносит людям, говоря с ними о том, чего они не знают. Подобное пренебрежение прощают лишь писателям, поэтам или журналистам. Новые идеи, или даже старые, но в каком-то необычном ракурсе, по моему мнению, можно было излагать только на основе фактов: факты долговечны, от них не уйдешь, рано или поздно кто-нибудь обратит на них внимание и вынужден будет их признать. Я же, за неимением лучшего, лишь рассуждал, вместо того чтобы приводить факты. Теперь я понял, что именно этого мне и не достаёт. Ничего, что можно было бы «взять в руки», я не имел, более чем когда-либо нуждаясь в чистой эмпирии. Я отнес это к недостаткам философов — их многословие, превышающее опыт, их умолчание там, где опыт необходим. Я представлялся себе человеком, который, оказавшись неведомо как в алмазной долине, не может убедить в этом никого, даже самого себя, поскольку камни, что он захватил с собой, при ближайшем рассмотрении оказались горстью песка.

\* \* \*

...Я очень долго работал, прежде чем смог набрать необходимый багаж. В работе с интеллектуально развитыми и образованными пациентами психиатру мало одних профессиональных знаний. Кроме всякого рода теоретических положений он

должен выяснить, чем на самом деле руководствуется пациент, иначе преодолеть его внутреннее сопротивление невозможно.

В конце концов, главное не в том, подтвердилась ли та или иная теория, а в том, что представляет собой больной, каков его внутренний мир. Последнее не поддается пониманию без знания привычной для него среды со всеми ее установлениями и предрассудками. Одной лишь медицинской подготовки недостаточно еще и потому, что пространство человеческого сознания безгранично и вмещает оно гораздо больше, нежели кабинет психиатра.

Человеческая душа, безусловно, более сложна и менее доступна для исследования, нежели человеческое тело. Она, скажем так, начинает существовать в тот момент, когда мы начинаем осознавать ее. Поэтому здесь сталкиваешься с проблемой не только индивидуального, но и общечеловеческого порядка, и психиатру приходится иметь дело со всем многообразием мира. Сегодня, как никогда прежде, становится очевидным, что опасность, всем нам угрожающая, исходит не от природы, а от человека, она коренится в психологии личности и психологии массы. Психическое расстройство представляет собой грозную опасность. От того, правильно или нет функционирует наше сознание, зависит все. Если определенные люди сегодня потеряют голову, завтра будет взорвана водородная бомба!.. Мне часто приходилось видеть, как люди становились невротиками, оттого что довольствовались неполными или неправильными ответами на те вопросы, которые ставила им жизнь. Они искали успеха, положения, удачного брака, славы, а оставались несчастными и мучились от неврозов, даже достигнув всего, к чему так стремились. Этим людям не хватает духовности, жизнь их обычно бедна содержанием и лишена смысла. Как только они находят путь к духовному развитию и самовыражению, невроз, как правило, исчезает. Поэтому я всегда придавал столько значения самой идее развития личности.

...Среди так называемых невротиков есть много людей, которые, если бы родились раньше, не были бы невротиками, то



Невротиков вокруг нас много.  
Это естественная часть нашей жизни...

есть не ощущали бы внутреннюю раздвоенность. Живи они тогда, когда человек был связан с природой и миром своих предков посредством мифа, когда природа являлась для него источником духовного опыта, а не только окружающей средой, у этих людей не было бы внутренних разладов. Я говорю о тех, для кого утрата мифа явилась тяжелым испытанием и кто не может обрести свой путь в этом мире, довольствуясь естественнонаучными представлениями о нем, причудливыми словесными спекуляциями, не имеющими ничего общего с мудростью.

Наши страдающие от внутренних разладов современники — только лишь «ситуативные невротики», их болезненное состояние исчезает, как только исчезает пропасть между эго и бессознательным. Кто сам ощутил внутреннюю раздвоенность и побывал в подобном положении, сможет лучше понять бессознательные процессы психики и будет застрахован от опасности преувеличивать размеры невроза, чем часто грешат психологи. Кто на собственном опыте не испытал нуменозное действие архетипов, вряд ли сможет избежать путаницы, когда столкнется с этим на практике. И переоценки, и недооценки этого приведут к одному: его критерии будут иметь исключительно рациональный, а не эмпирический характер. Именно отсюда берут начало губительные заблуждения (и этим страдают не только врачи), первое из них — предпочтение рационального пути остальным. За такого рода попытками прячется тайная цель — по возможности отгородиться от собственного подсознания, от архетипических состояний, от реального психологического опыта и заменить его с виду надежной, но искусственной и ограниченной, двухмерной идеологической действительностью, где настоящая жизнь со всеми ее сложностями заслонена так называемыми «отчетливыми понятиями» — идеологемами. Таким образом, значение приобретает не реальный опыт, а пустые имена, которые замещают его. Это ни к чему не обязывает и весьма удобно, поскольку защищает нас от испытания опытом и осознания последнего. Но ведь дух обитает не в концепциях, а в поступках и реальных вещах. Слова никого не согревают, тем не менее эту бесплодную процедуру повторяют бесконечно.

Подводя итог, скажу, что самыми трудными, как и самыми неблагодарными для меня пациентами (за исключением «патологических фантазеров»), являются так называемые интеллектуалы. У них, как правило, правая рука не знает, что делает левая. Они исповедуют своего рода *psychologie a compartiments*<sup>1</sup>, не позволяя себе ни единого чувства, не контролируемого интеллектом, то есть пытаются все уладить и причесать, но в результате больше, чем остальные, подвержены разнообразным неврозам.

\* \* \*

С работами Брейера и Фрейда я познакомился уже в самом начале моей психиатрической деятельности, и наряду с работами Пьера Жане они оказались для меня чрезвычайно полезными... «Толкование сновидений» Фрейда я прочел еще в 1900 году. Тогда я отложил книгу в сторону, поскольку не понял ее. Мне было 25 лет, и мне еще не хватало опыта, чтобы оценить значение теории Фрейда. Это случилось позже. В 1903 году я снова взялся за «Толкование сновидений» и осознал, насколько идеи Фрейда близки моим собственным. Главным образом меня заинтересовал так называемый «механизм вытеснения», заимствованный Фрейдом из психологии невротиков и используемый им в толковании сновидений. Всю важность его я оценил сразу. Ведь в своих ассоциативных тестах я часто встречался с реакциями подобного рода: пациент не мог найти ответ на то или иное стимулирующее слово или медлил более обычного. Затем было установлено, что такие аномалии имеют место всякий раз, когда стимулирующие слова затрагивают некие болезненные или конфликтные психические зоны. Пациенты, как правило, не осознавали этого и на мой вопрос о причине затруднений обычно давали весьма странные, а то и неестественные ответы. Из «Толкования сновидений» я выяснил, что здесь срабатывает

---

<sup>1</sup> Психологию «в футляре» (*фр.*).

механизм вытеснения и что наблюдаемые мной явления вполне согласуются с теорией Фрейда. Таким образом, я как бы подкреплял фрейдовскую аргументацию.

Иначе было с тем, что же именно «вытеснялось», здесь я не соглашался с Фрейдом. Он видел причины вытеснения только в сексуальных травмах. Однако в моей практике я нередко наблюдал невроты, в которых вопросы секса играли далеко не главную роль, а на передний план выдвигались совсем другие факторы: трудности социальной адаптации, угнетенность из-за трагических обстоятельств, понятия престижа и т.д. Впоследствии я не раз приводил Фрейду в пример подобные случаи, но он предпочитал не замечать никаких иных причин, кроме сексуальных. Я же был в корне не согласен с этим...

Более всего меня настораживало отношение Фрейда к духовным проблемам. Там, где находила свое выражение духовность — будь то человек или произведение искусства, — Фрейд видел подавленную сексуальность. А для того, что нельзя было объяснить собственно сексуальностью, он придумал термин «психосексуальность». Я пытался возражать ему, что если эту гипотезу довести до логического конца, то вся человеческая культура окажется не более чем фарсом, патологическим результатом подавленной сексуальности. «Да, — соглашался он, — именно так, это какое-то роковое проклятие, против которого мы бессильны».

...Несомненно, Фрейд необычайно близко к сердцу принимал все, что касалось его сексуальной теории. Когда речь заходила о ней, тон его, обычно довольно скептический, становился вдруг нервным и жестким, а на лице появлялось странное, взволнованное выражение. Я поначалу не мог понять, в чем же причина этого. Но у меня возникло предположение, что сексуальность для него была своего рода *punitosura*<sup>1</sup>. Это впечатление подтвердилось позже при нашей встрече в Вене спустя три года (в 1910 году).

---

<sup>1</sup> Божественное (*лат.*).

Я до сих пор помню, как Фрейд сказал мне: «Мой дорогой Юнг, обещайте мне, что вы никогда не откажетесь от сексуальной теории. Это превыше всего. Понимаете, мы должны сделать из нее догму, неприступный бастион». Он произнес это со страстью, тоном отца, наставляющего сына: «Мой дорогой сын, ты должен пообещать мне, что будешь каждое воскресенье ходить в церковь».

Скрывая удивление, я спросил его: «Бастион — против кого?» — «Против потока черной грязи, — на мгновение Фрейд запнулся и добавил, — оккультизма». Я был не на шутку встревожен — эти слова «бастион» и «догма», ведь догма — неоспоримое знание, такое, которое устанавливается раз и навсегда и не допускает сомнений. Но о какой науке тогда может идти речь, ведь это не более чем личный диктат.

И тогда мне стало понятно, что наша дружба обречена; я знал, что никогда не смогу примириться с подобными вещами. К «оккультизму» Фрейд, по-видимому, относил абсолютно все, что философия, религия и возникшая уже в наши дни парапсихология знали о человеческой душе. Для меня же и сексуальная теория была таким же «оккультизмом», то есть не более чем недоказанной гипотезой, как всякое умозрительное построение. Научная истина, в моем понимании, — это тоже гипотеза, которая соответствует сегодняшнему дню и которая не может остаться неизменной на все времена.

Многое еще не было доступно моему пониманию, но я отметил у Фрейда нечто похожее на вмешательство неких подсознательных религиозных факторов. По-видимому, он пытался защититься от этой подсознательной угрозы и вербовал меня в помощники...

На место утраченного им грозного Бога он поставил другой кумир — сексуальность. И этот кумир оказался не менее капризным, придирчивым, жестоким и безнравственным. Так же как необычайную духовную силу в страхе наделяют атрибутами «божественного» или «демонического», так и «сексуальное либидо» стало играть роль *deus absconditus*, некоего тайного



бога. Такая «замена» дала Фрейдю очевидное преимущество: он получил возможность рассматривать новый нуминозный принцип как научно безупречный и свободный от груза религиозной традиции. Но в основе-то все равно лежала нуминозность — общее психологическое свойство двух противоположных и несводимых рационально полюсов — Яхве и сексуальности. Переменилось только название, а с ним, соответственно, и точка зрения: теперь утраченного Бога следовало искать внизу, а не наверху.

Но если некая сила все же существует, то есть ли разница в том, как ее называть? Если бы психологии не существовало вовсе, а были лишь конкретные вещи, ничего не стоило бы разрушить одну из них и заменить другой. Но в реальности, то есть в психологическом опыте, остаются все те же настойчивость, робость и принуждение — ничто бесследно не исчезает. Никуда не денутся и вечные проблемы: как преодолеть страх или избавиться от совести, чувства долга, принуждения или подсознательных желаний. И раз мы не в состоянии их решить, опираясь на нечто светлое и идеальное, не следует ли обратиться к силам темным, биологическим?

Эта мысль пришла ко мне неожиданно. Но ее смысл и значение я понял гораздо позже, когда анализировал в своей памяти характер Фрейда. У него была одна отличительная черта, которая более всего меня занимала: в нем ощущалась какая-то горечь. Она поразила меня еще в первый мой приезд в Вену.

И я не находил этому объяснения, пока не увидел здесь связь с его представлением о сексуальности. Хотя для Фрейда сексуальность, безусловно, означала своего рода *numinosum*, тем не менее и в терминологии, и в самой теории он, казалось, описывал ее исключительно как биологическую функцию. И только волнение, с которым он говорил о сексуальности, показывало, насколько глубоко это его затрагивало. Суть его теории состояла в том — как мне, во всяком случае, казалось, — что сексуальность содержит в себе духовную силу или имеет тот же смысл. Но слишком конкретная терминология оказалась слишком ограниченной для этой идеи. Мне подумалось, что Фрейд

на самом деле двигался в направлении, прямо противоположном собственной цели, действуя, таким образом, против самого себя, — а нет ничего горше, нежели сознание, что ты сам свой злейший враг. По его же словам, Фрейд постоянно испытывал ощущение, что на него вот-вот обрушится некий «поток черной грязи», — на него, который более, чем кто-либо, погружался в самые темные его глубины.

Фрейд никогда не задавался вопросом, почему ему постоянно хочется говорить именно о сексе, почему в мыслях он все время возвращается к одному и тому же предмету. Он так и не понял, что подобная однообразность толкования означает бегство от самого себя или, может быть, от иной, возможно, мистической, стороны своего «я». Не признавая ее существования, он не мог достичь душевного равновесия. Его слепота во всем, что касалось парадоксов бессознательного и возможностей двойного толкования его содержимого, не позволяла ему осознать, что все содержимое бессознательного имеет свой верх и низ, свою внешнюю и внутреннюю стороны. И если мы говорим о внешней его стороне — а именно это делал Фрейд, — мы имеем в виду лишь половину проблемы, что вызывает нормальное в такой ситуации бессознательное противодействие.

С этой фрейдовской односторонностью ничего нельзя было поделать. Возможно, его мог бы «просветить» какой-нибудь внутренний опыт, как мне думается, и тогда его разум счел бы любой подобный опыт проявлением исключительно «сексуальности» или, на худой конец, «психосексуальности». В каком-то смысле он потерпел поражение. Фрейд представляется мне фигурой трагической. Он, вне всякого сомнения, был великим человеком, и еще — трогательно беззащитным.

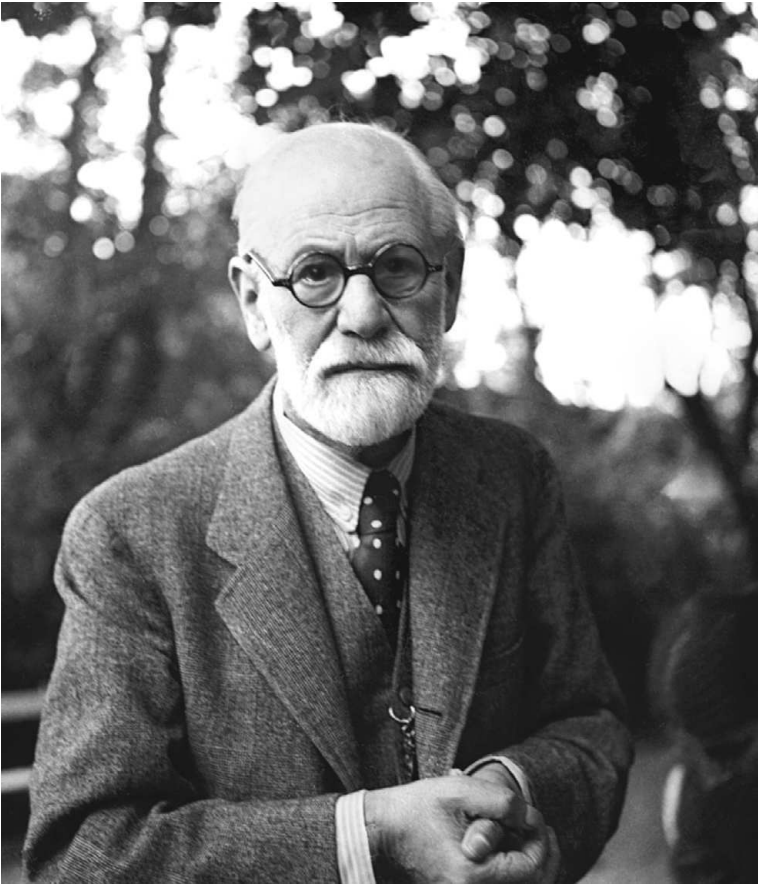
\* \* \*

После встречи с Фрейдом в Вене я начал понимать концепцию власти Альфреда Адлера, которую и прежде считал заслуживающей внимания. Адлер, как всякий «сын», перенял от

своего «отца» не то, что тот *говорил*, а то, что тот *делал*. Теперь же я открыл для себя проблему любви — эроса и проблему власти — власти как свинцового груза, камня на душе. Сам Фрейд, в чем он признался мне, никогда не читал Ницше. Теперь же я увидел фрейдовскую психологию в культурно-исторической последовательности как некую компенсацию ницшеанского обожествления власти. Проблема явно заключалась не в противостоянии Фрейда и Адлера, а в противостоянии Фрейда и Ницше. Поэтому я полагаю, что это не просто «семейная ссора» психопатологов. Мое мнение таково, что эрос и влечение к власти — все равно что двойня, сыновья *одного* отца, производное от одной духовной силы, которая, как положительные и отрицательные электрические заряды, проявляет себя в противоположных ипостасях: одна, эрос, — как некий *patiens*, другая, жажда власти, — как *agens*, и наоборот. Эросу так же необходима власть, как власти — эрос, одна страсть влечет за собой другую. Человек находится во власти своих страстей, но вместе с тем он пытается овладеть собой. Фрейд рассматривает человека как игрушку, которой управляют ее собственные страсти и желания, Адлер же показывает, как человек использует свою страсть для того, чтобы подчинить себе других. Беспомощность перед неумолимым роком вынудила Ницше выдумать для себя «сверхчеловека», Фрейд же, как я понимаю, настолько подчинил себя Эросу, что считал его *asre perennius*<sup>1</sup>, сделал из него догму, подобно религиозному нумену. Не секрет, что «Заратустра» выдает себя за Евангелие, и Фрейд на свой лад пытался превзойти церковь и канонизировать свое учение. Он, конечно, старался избежать огласки, но подозревал во мне намерение сделаться его пророком. Его попытка была трагичной, и он сам ее обесценивал. Так всегда происходит с нуменом, и это справедливо, ибо то, что в одном случае представляется верным, в другом оказывается ложным, то, что мы мыслим как свою защиту, таит в себе вместе с тем и угрозу. Нуминозный опыт и возвышает и унижает одновременно.

---

<sup>1</sup> Прочнее бронзы (*лат.*).



Зигмунд Фрейд

Если бы Фрейду хоть раз пришло в голову представить себе, что сексуальность несет в себе *numinosum*, что она — и Бог и дьявол в одном лице, что с точки зрения психологии это не вызывает сомнения, он не смог бы ограничиться узкими рамками биологической концепции. И Ницше, может быть, не воспарил бы в своих спекуляциях и не утратил бы почвы под ногами, держись он более твердо основных условий человеческого существования.

Всякий нуминозный опыт таит в себе угрозу для человеческой психики, он как бы раскачивает ее так, что в любую минуту эта тонкая нить может оборваться, и человек потеряет спасительное равновесие. Для одних этот опыт означает безусловное «да», для других — безусловное «нет». С Востока к нам пришло понятие нирваны. Я никогда не забываю об этом. Но маятник нашего сознания совершает свои колебания между смыслом и бессмыслицей, а не между справедливостью и несправедливостью. Опасность нуминозных состояний таится в соблазне экстремальности, в том, что маленькую правду принимают за *истину*, а мелкую ошибку расценивают как фатальную. *Tout passe*<sup>1</sup>, что было истиной вчера, сегодня может показаться заблуждением, но то, что считалось ошибочным позавчера, явится откровением завтра. Именно это является одной из тех психологических закономерностей, о которых в действительности мы еще очень мало знаем. Мы по-прежнему далеки от понимания того, что *ничто* не существует до тех пор, пока какое-нибудь бесконечно малое и, увы, столь краткое и преходящее; сознание не отметит его как *что-то*. Беседа с Фрейдом, я узнал о его страхе: он боялся, что нуминозное «сияние» его теории может померкнуть, если его захлестнет некий «поток черной грязи». Таким образом, возникла совершенно мифологическая ситуация: *борьба между светом и тьмой*. Это объясняет нуминозные комплексы Фрейда и то, почему в момент опасности он обращался к чисто религиозным средствам защиты — к догме...

---

<sup>1</sup> Всё проходит (*фр.*).

К величайшим достижениям Фрейда я отношу то, что он беспощадно *указал* миру на всю гниль современного сознания, что, конечно же, не принесло ему популярности. Впрочем, он к этому был готов. Открывая некие подступы к бессознательному, Фрейд тем самым дал нашей цивилизации новый толчок. Называя сновидения наиболее важным источником информации о бессознательных процессах, он вернул людям и науке инструмент, утерянный, казалось, безвозвратно. Он опытным путем продемонстрировал реальность бессознательной части души, существовавшей до этого лишь как философский постулат главным образом у К.Г. Каруса и Э. фон Гартмана. В заключение хочу отметить, что современная культура с ее бесконечной рефлексией еще не готова к восприятию идеи бессознательного и всего, что из нее следует, хотя уже почти полвека живет с нею бок о бок. Тот универсальный и основополагающий факт, что психика по сути двуполярна, еще ждет своего признания.

\* \* \*

...С 1918 и по 1926 год я серьезно интересовался гностиками, которые тоже соприкоснулись с миром бессознательного, обращаясь к его сути, явно проистекавшей из природы инстинктов. Каким образом им удалось прийти к этому, сказать сложно, сохранившиеся свидетельства крайне скупы, к тому же исходят большей частью из противоположного лагеря — от отцов церкви. Сомневаюсь, чтобы у гностиков могли сложиться какие-либо психологические концепции. В своих установках они были слишком далеки от меня, чтобы можно было обнаружить какую-либо мою связь с ними. Традиция, идущая от гностиков, казалась мне прерванной, мне долгое время не удавалось навести хоть какой-нибудь мостик, соединяющий гностиков или неоплатоников с современностью. Лишь приступив к изучению алхимии, я обнаружил, что она исторически связана с гностицизмом, что именно благодаря ей возникла определенная преемственность между прошлым и настоящим. Уходящая корня-

ми в натурфилософию средневековая алхимия и послужила тем мостом, который, с одной стороны, был обращен в прошлое — к гностикам, с другой же — в будущее, к современной психологии бессознательного. Основоположником последней являлся Фрейд, который обратился к классическим мотивам гностиков: сексуальности, с одной стороны, и жесткой отцовской авторитарности — с другой. Гностические мотивы Яхве и Бога Творца Фрейд возродил в мифе об отцовском начале и связанном с ним сверх-эго. Во фрейдовском мифе сверх-эго предстает как демон, породивший мир иллюзий, страстей и разочарований.

Правда, материалистическое начало в алхимии, проникновение ее в тайны материи и т.д. заслонило для Фрейда другой важный аспект гностицизма — первичный образ духа как некоего другого, высшего божества. Согласно гностической традиции, это высшее божество послало людям в дар так называемый «кратер» — «сосуд духовной трансформации». «Кратер», чаша — женственный принцип, которому не нашлось места во фрейдовском патриархальном, мужском мире. И Фрейд был не одинок в своих предрассудках. В католическом мире Богородица и невест Христовых лишь недавно допустили в Телемскую обитель и тем самым, после многовековых колебаний, частично их узаконили, У протестантов и иудеев, как и прежде, во главе остается Бог Отец. В изотерической философии алхимиков, напротив, доминирует женское начало. Важнейшее место в «женской» символике алхимиков отводилось чаше, в которой происходило превращение и перерождение субстанций. В моих психологических концепциях центральным также являлся процесс внутреннего перерождения — *индивидуации*.

...Опыты алхимиков были в каком-то смысле моими опытами, их мир — моим миром. Открытие меня обрадовало: наконец-то я нашел исторический аналог своей психологии бессознательного и обрел твердую почву. Эта параллель, а также восстановление непрерывной духовной традиции, идущей от гностиков, давали мне некоторую опору. Когда я читался в средневековые тексты, все встало на свои места: мир образов

и видений, опытные данные, собранные мной : за прошедшее время, и выводы, к которым я пришел. Я стал понимать их в исторической связи. Мои типологические исследования, начало которым положили занятия мифологией, получили новый толчок. Архетипы и природа их переместились в центр моей работы. Теперь я обрел уверенность, что без истории нет психологии, — и в первую очередь это относится к психологии бессознательного. Когда речь заходит о сознательных процессах, вполне возможно, что индивидуального опыта будет достаточно для их объяснения, но уже неврозы в своем анамнезе требуют более глубоких знаний; когда врач сталкивается с необходимостью принять нестандартное решение, одних его ассоциаций явно недостаточно.

Мои занятия алхимией имели непосредственное отношение к Гёте. Он каким-то непостижимым образом оказался вовлеченным в извечный, процесс архетипических превращений. «Фауста» Гёте понимал как *opus magnum* или *opus divinum*<sup>1</sup>, не случайно называя его своим «главным делом», подчеркивая, что в этой драме заключена вся его жизнь. Его творческая субстанция была, в широком смысле, отражением объективных процессов, знаменательным сновидением *mundus archetypus*<sup>2</sup>.

Мной самим овладели те же сны, и у меня есть «главное дело», которому я отдал себя с одиннадцати лет. Вся моя жизнь была подчинена одной идее и вела к одной цели: разгадать тайну человеческой личности. Это было главным, и все, что я сделал, связано с этим.

\* \* \*

...В юности (в 1890-х) я бессознательно следовал духу времени, не умея противостоять ему. «Фауст» пробудил во мне нечто такое, что в некотором смысле помогло мне понять самого себя. Он поднимал проблемы, которые более всего меня вол-

---

<sup>1</sup> Великое или божественное деяние (*лат.*).

<sup>2</sup> Мира архетипов (*лат.*).



новали: противостояние добра и зла, духа и материи, света и тьмы. Фауст, будучи сам неглубоким философом, сталкивается с темной стороной своего существа, своей зловещей тенью — Мефистофелем. Мефистофель, отрицая самую природу, воплощает подлинный дух жизни в противоположность сухой схоластике Фауста, поставившей его на грань самоубийства. Мои внутренние противоречия проявились здесь как драма. Именно Гёте странным образом обусловил основные линии и решения моих внутренних конфликтов. Дихотомия Фауст — Мефистофель воплотилась для меня в одном единственном человеке, и этим человеком был я. Это касалось меня лично, я узнавал себя. Это была моя судьба и все перипетии драмы — мои собственные; я принимал в них участие со всей пылкостью. Любое решение в данном случае имело для меня ценность.

Позднее я сознательно во многих своих работах акцентировал внимание на проблемах, от которых уклонился Гёте в «Фаусте», — это уважение к извечным правам человека, почитание старости и древности, неразрывность духовной истории и культуры.

Наши души, как и тела, состоят из тех же элементов, что тела и души наших предков. Качественная «новизна» индивидуальной души — результат бесконечной перетасовки составляющих. И тела и души исторически обусловлены имманентно: возникая вновь, они не становятся единственно возможной комбинацией, это лишь мимолетное пристанище неких исходных черт. Мы еще не успели усвоить опыт средневековья, античности и первобытной древности, а нас уже влечет неутомимый поток прогресса, стремительно рвущийся вперед, в будущее, и мы вслед за ним все больше и больше отрываемся от своих естественных корней. Мы отрываемся от прошлого, и оно умирает в нас, и удержать его невозможно. Но именно утрата этой преемственности, этой опоры, эта неукорененность нашей культуры и есть ее так называемая «болезнь»: мы в суматохе и спешке, но все более и более живем будущим, с его химерическими обещаниями «золотого века», забывая о настоя-

щем, напрочь отвергая собственные исторические основания. В безумной гонке за новизной нам не дает покоя все возрастающее чувство недостаточности, неудовлетворенности и неуверенности. Мы разучились жить тем, что имеем, но живем ожиданиями новых ощущений, живем не в свете настоящего дня, но в сумерках будущего, где в конце концов — по нашему убеждению — взойдет солнце. Зачем нам знать, что лучшее — враг хорошего и стоит слишком дорого, что наши надежды на большие свободы обернулись лишь большей зависимостью от государства, не говоря уже о той ужасной опасности, которую принесли с собой выдающиеся научные открытия. Чем менее мы понимаем смысл существования наших отцов и прадедов, тем менее мы понимаем самих себя. Таким образом отдельный человек теряет навсегда последние родовые корни и инстинкты, превращаясь лишь в частицу в общей массе и следуя лишь тому, что Ницше назвал «Geist der Schwere», духом тяжести.

Опережающий рост качества, связанный с техническим прогрессом, с так называемыми «gadgets»<sup>1</sup>, естественно, производит впечатление, но лишь вначале, позже, по прошествии времени, они уже выглядят сомнительными, во всяком случае, купленными слишком дорогой ценой. Они не дают счастья или благоденствия, но в большинстве своем создают иллюзорное облегчение; как всякого рода сберегающие время мероприятия они на поверку до предела ускоряют темп жизни, оставляя нам все меньше и меньше времени. «Omnis fastinatio ex parte — diaboli est» («всякая спешка — от дьявола»), как говорили древние.

Изменения же обратного свойства, напротив, как правило, дешевле обходятся и дольше живут, поскольку возвращают нас к простому, проверенному пути, сокращая наши потребности в газетах, радио, телевидении и в прочих, якобы сберегающих наше время, нововведениях...

Мы гораздо лучше слышим и гораздо лучше видим, если нас не зажимают в тисках настоящего, если нас не ограничивают и не преследуют нужды этого часа и этой минуты, заслоняя

---

<sup>1</sup> Приспособления (англ.).

собственно саму минуту и образы, и голоса бессознательного. Так мы остаемся в неведении, даже не предполагая, насколько в нашей жизни присутствует мир наших предков с его элементарными благами, не задумываясь, отделены ли мы от него непреодолимой стеной. Наш душевный покой и благополучие прежде всего обусловлены тем, в какой мере исторически унаследованные фамильные черты согласуются с эфемерными нуждами настоящего момента.

\* \* \*

Каждый раз, когда возникает потребность взглянуть на вещи критически, нужно смотреть на них со стороны. Как, например, возможно полностью осознать национальные особенности, если мы не можем взглянуть на свой народ со стороны? А это означает — смотреть на него с точки зрения другого народа. И чтобы опыт удался, необходимо получить более или менее удовлетворительное представление о другом коллективном сознании, причем в процессе ассимиляции нам придется столкнуться со многими необычными вещами, которые кажутся несовместимыми с нашими понятиями о норме, которые составляют так называемые национальные предрассудки и определяют национальное своеобразие. Все, что не устраивает нас в других, позволяет понять самих себя. Я начинаю понимать, что есть Англия, лишь тогда, когда я как швейцарец испытываю неудобства. Я начинаю понимать Европу (а это наша главная проблема), если вижу то, что раздражает меня как европейца. Среди моих знакомых много американцев. Именно поездка в Америку дала мне возможность критически подойти к европейскому характеру и образу жизни; мне всегда казалось, что нет ничего полезнее для европейца, чем взглянуть на Европу с крыши небоскреба. Впервые таким образом я воображал европейскую драму, будучи в Сахаре, когда меня окружала цивилизация, отдаленная от европейской приблизительно так же, как Древний Рим — от Нового Света. Тогда мне стало понятно, до



Мексиканский индеец

какой степени — даже в Америке — я все еще стеснен и замкнут в рамках культурного сознания белого человека. И тогда у меня появилось желание углубить эту историческую аналогию, спустившись еще ниже по культурной лестнице.

Оказавшись в Америке в следующий раз, я вместе с американскими друзьями посетил Нью-Мехико, город, основанный индейцами пуэблос. Впрочем, «город» — это слишком сильно сказано, на самом деле это просто деревня, но дома в ней, скученные, густозаселенные, выстроенные один над другим, позволяют говорить о «городе», тем более что так его название звучит на их языке. Так впервые мне удалось поговорить с неевропейцем, то есть не с белым. Это был вождь племени Тао, человек лет сорока или пятидесяти, умный и проницательный, по имени Охвия Биано (Горное Озеро). Я говорил с ним так, как мне редко удавалось поговорить с европейцем. Разумеется, и он жил в своем собственном мире, как европеец — в своем, но что это был за мир! В беседе с европейцем вы, словно песок сквозь пальцы, пропускаете общие места, всем известные, но тем более никому не понятные; здесь же — я словно плыл по глубокому неведомому морю. И неизвестно, что доставляет больше наслаждения, — открывать для себя новые берега или находить новые пути в познании вещей давно известных, пути древние и практически забытые.

«Смотри, — говорил Охвия Биано, — какими жестокими кажутся белые люди. У них тонкие губы, острые носы, их лица в глубоких морщинах, а глаза все время чего-то ищут. Чего они ищут? Белые всегда чего-то хотят, они всегда беспокойны и нетерпеливы. Мы не знаем, чего они хотят. Мы не понимаем их. Нам кажется, что они сумасшедшие». Я спросил его, почему он считает всех белых сумасшедшими? «Они говорят, что думают головой», — ответил вождь. «Ну, разумеется! А чем же ты думаешь?» — удивился я. «Наши мысли рождаются здесь», — сказал Охвия, указывая на сердце.

Я был ошеломлен услышанным. Первый раз в жизни (так мне казалось) мне нарисовали истинный портрет белого чело-

века; у меня было такое чувство, будто до этого я не видел ничего, кроме размалеванных сентиментальных картинок.

Этот индеец отыскал наше самое уязвимое место, увидел нечто такое, чего не видим мы. У меня возникло ощущение, будто то, чего я не замечал в себе раньше, нечто лишенное очертаний, поднимается во мне. И из этого тумана один за другим выплывают образы. Сначала возникли римские легионеры, разрушающие галльские города, Цезарь с его резкими, словно высеченными из камня, чертами, Сципион Африканский и, наконец, Помпей. Я увидел римского орла над Северным морем и на берегах Белого Нила. Я увидел Блаженного Августина, принесшего на остриях римских пик христианское «credo» бриттам, и Карла Великого с его пресловутым крещением язычников. Я видел банды крестоносцев, грабящих и убивающих. Со всей беспощадностью передо мной обнажилась пустота романтической традиции с ее поэзией крестовых походов. Затем перед глазами появились Колумб, Кортес и прочие конкистадоры, огнем, мечом и пытками проложившие путь христианству, достигшему даже этих отдаленных пуэблос, мечтательных и мирных, почитающих солнце своим отцом. Я увидел, наконец, жителей Новой Зеландии, куда европейцы доставили морем «огненную воду», скарлатину и сифилис.

Этого было достаточно. Все, что у нас зовется колонизацией, миссионерством, распространением цивилизации и пр., имеет и другой облик — облик хищной птицы, которая с жестокостью и упорством находит добычу подальше от своего гнезда, что отроду свойственно пиратам и бандитам. Все эти орлы и прочие хищники, которые украшают наши гербы, дают психологически верное представление о нашей истинной природе.

\* \* \*

Однако в том, что сказал Охвия Биано, меня поразило и другое. Его слова так точно передавали особое настроение нашего разговора, что мой рассказ выглядел бы неполным, если

бы я не упомянул об этом. Мы беседовали на крыше самого большого (пятиэтажного) здания, откуда были видны и другие крыши и на них — фигуры индейцев, закутанных в шерстяные одеяла и созерцающих солнце, свершающее свой путь по небу каждый день, с утра до вечера. Вокруг нас, сгрудившись, стояли низкие квадратные дома, сложенные из высушенного на солнце кирпича (адоба), с характерными лестницами, которые поднимались от земли до крыши и от крыши — к крышам соседних строений. Прежде, в тревожные для индейцев времена, вход в дом обычно располагался на крыше. Перед нами до самого горизонта тянулось предгорье Тао (примерно 2300 м над уровнем моря), некоторые вершины с воронками потухших вулканов достигали 4000 м. Позади нас, за домами, текла прозрачная река, на противоположном берегу которой виднелось еще одно селение пуэблос с такими же домами из красного кирпича, высота которых увеличивалась по направлению к центру, что странным образом напоминало американскую столицу с ее небоскребами в центре. Примерно в полудне езды вверх по реке возвышалась большая гора, просто Гора, Гора без имени. Говорят, что, когда она затянута облаками, мужчины уходят туда, чтобы совершать таинственные обряды. Индейцы пуэблос чрезвычайно скрытны, особенно в том, что касается их религии. Свои обряды они совершают в глубокой тайне, которая охраняется настолько строго, что я воздержался от расспросов, — это ни к чему не привело бы. Никогда раньше я не сталкивался с подобной таинственностью. Религии современных цивилизованных народов вполне доступны, их таинства уже давно перестали быть таковыми. Здесь же сам воздух был исполнен тайны — тайны, известной всем, но недоступной для белых. Эта странная ситуация напомнила мне об Элевсинских мистериях, об их тайнах, которые всем известны, но никогда не разглашаются. Я понял чувства какого-нибудь Павсания или Геродота, когда писал: «Мне не позволено называть имя этого бога». Здесь царила не мистификация, а мистерия, и нарушение тайны несло в себе опасность, одинаковую для всех и каждого.

Хранение же ее наделяет индейца пуэблос некоей гордостью и силой, позволяющей противостоять агрессивной экспансии белых. Эта тайна рождает у него чувство своего единства с племенем. Я убежден, что пуэблос как особая общность сохранятся до тех пор, пока будут храниться их тайны.

Поразительно, насколько меняется индеец, когда заходит речь о религии. Обычно он полностью владеет собой и ведет себя с достоинством, что порой граничит с равнодушием. Но, когда он заговаривает о вещах, имеющих отношение к его священным тайнам, он становится необыкновенно эмоциональным, не в силах скрывать свои чувства. И это в какой-то степени позволяло мне удовлетворить свое любопытство. Выше я уже говорил, что от прямых расспросов мне пришлось отказать. Поэтому, желая узнать что-то существенное, я старался делать это крайне осторожно, наблюдая за выражением лица собеседника. Если я касался чего-то важного, он замолкал или же отвечал уклончиво, но на лице его появлялись следы глубокого волнения, глаза наполнялись слезами. Религия для индейцев — отнюдь не теория (можно ли создать теорию, способную вызвать слезы), это то, что имеет прямое и непосредственное отношение к действительности и значит столько же, если не больше.

Когда мы сидели на крыше с Охвией Биано, а спящее солнце поднималось все выше и выше, он вдруг сказал, указывая на него: «Тот, кто движется там, в небе, не наш ли это Отец? Разве можно думать иначе? Разве может быть другой Бог? Без солнца ничто не может существовать!» Все сильнее волнуясь, он с трудом подбирая слова, и наконец, воскликнул: «Что человек делал бы один в горах? Без солнца он не смог бы даже соорудить себе очаг!» Я спросил, не допускает ли он, что солнце может быть огненным шаром, форму которого определил невидимый Бог. Мой вопрос не вызвал у него ни удивления, ни негодования. Вопрос показался ему настолько нелепым, что он даже не счел его глупым, — а просто не обратил на него внимания. Я испытал, будто оказался перед неприступной стеной.



Единственное, что я услышал в ответ: «Солнце — Бог! Это видно любому». Хотя никто не станет отрицать огромного значения солнца, но то чувство и то волнение, с которым говорили о нем эти спокойные, скрытные люди, было для меня внове и глубоко меня трогало.

В другой раз, когда я стоял у реки и смотрел на гору, возвышавшуюся почти на 2000 м, мне пришла в голову мысль, что это и есть крыша всего американского континента и что люди, живущие здесь, подобны индейцам, которые, завернувшись в одеяла, стоят на самых высоких крышах Пуэбло, молчаливые и погруженные в созерцание — лицом к солнцу. Внезапно глубокий, дрожащий от тайного волнения голос произнес слева от меня: «Тебе не кажется, что вся жизнь идет от Горы?» Это старый индеец в мокасинах неслышно подошел ко мне и задал свой — не знаю, как далеко идущий, — вопрос. Взгляд на реку, струящуюся с горы, объяснил мне, что его подтолкнуло. По-видимому, вся жизнь идет от Горы потому, что там — вода, а где вода, там жизнь. Нет ничего более очевидного. В его вопросе слышалось глубокое волнение, и я вспомнил разговоры о таинственных ритуалах, совершаемых на Горе. «Каждый может видеть, что ты сказал правду», — ответил я ему. К сожалению, наша беседа вскоре прервалась, так что мне не удалось составить более глубокое понятие относительно символизма воды и горы.

\* \* \*

Я обратил внимание, что индейцы пуэблос, с такой неохотой рассказывавшие о вещах религиозных, с большой готовностью и воодушевлением обсуждали свои отношения с американцами. «Почему американцы не оставят нас в покое? — вопрошал Горное Озеро. — Почему они хотят запретить наши танцы? Почему они не позволяют нашим юношам уходить из школы, когда мы хотим отвести их в Киву. [Место, где совершаются ритуалы.] Мы ведь не делаем ничего, что приносило бы вред американцам!» После долгого молчания он продолжил: «Американцы хотят запретить нашу религию. Почему они

не могут оставить нас в покое? То, что мы делаем, мы делаем не только для себя, но и для американцев тоже. Да, мы делаем это для всех. Это нужно всем». По его волнению я понял, что вождь имеет в виду что-то очень важное в своей религии. «Выходит, то, что выделаете, приносит пользу всем?» — спросил я. «Конечно! Если бы мы не делали этого, что бы случилось тогда?» — ответил он с необыкновенным воодушевлением и многозначительно указал на солнце.

Я ощутил, что мы приблизились к деликатной сфере, которая затрагивает священные тайны племени. «Ведь мы — народ, — сказал он, — который живет на крыше мира, мы — дети солнца и, совершая свои обряды, мы помогаем нашему Отцу шествовать по небу. Если мы перестанем это делать, то через десять лет солнце не будет всходить и наступит вечная ночь».

Теперь я знал, откуда берется достоинство и невозмутимое спокойствие этого человека. Он — сын солнца, и его жизнь полна космологического смысла — он помогает своему Отцу, творцу и хранителю жизни на земле, — он помогает ему совершать это ежедневное восхождение. Если в свете такого самоопределения мы попытаемся объяснить назначение собственной жизни, то, как подсказывает здравый смысл, его убожество поразит нас. Мы покровительственно улыбаемся первобытной наивности индейца, кичимся своей мудростью. Почему? Да потому, что нас гложет обыкновенная зависть. Ведь в противном случае на свет божий выйдут наша духовная нищета и никчемность.

Знания не делают нас богаче, но все дальше уводят от мифологического миропонимания, которое свойственно было нам когда-то по праву рождения. Если мы на минуту отрешимся от нашего европейского рационализма и окажемся вдруг на этих вершинах с их кристальным воздухом, где по одну сторону — полоса материковых прерий, по другую — Тихий океан, если мы пожертвуем своими сознательными представлениями о мире ради этой бескрайней линии горизонта, за которой скрыто, то, чего мы не знаем, что неподвластно сознанию, — только тогда

мы увидим мир таким, каким его видят индейцы пуэблос. «Вся жизнь приходит с гор», — и в этом они могут убедиться непосредственно. Точно также они убеждены, что живут на крыше безграничного мира, ближе всех к Богу. Бог слышит их лучше других, их поклонение, их обряды достигают далекого солнца раньше, чем другие. Священная Гора, явление Яхве на горе Синай, вдохновение, испытанное Ницше на Энгадине, — все это явления одного порядка. Мысль о том, что исполнение обряда может магическим образом воздействовать на солнце, мы считаем абсурдной, но, если вдуматься, она не столь уж безумна, более того, она нам гораздо ближе, чем мы предполагаем. Наша христианская религия, как и всякая другая, проникнута идеей, что особого рода действия или поступки — ритуал, молитва или богоугодные дела — могут влиять на Бога.

Ритуальные действия всегда являют собой некий ответ, обратную реакцию, и предполагают не только прямое «воздействие», но зачастую преследуют и магическую цель. Но чувство, что ты сам в состоянии ответить на проявление Божественного могущества, что ты сам способен сделать для Бога что-то важное, преисполняет человека гордостью, дает ему возможность ощутить себя своего рода метафизическим фактором. «Бог и мы» — даже если это бессознательный *soustendu*<sup>1</sup>, это все же ощущение равноправности, позволяющее человеку вести себя с завидным достоинством, и такой человек в полном смысле слова находится на своем месте.

\* \* \*

Мне давно хотелось пусть недолго, но пожить в какой-нибудь неевропейской стране, среди людей, мало похожих на европейцев. С двумя друзьями, англичанином и американцем, я выехал в Момбаз<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Намек (*фр.*).

<sup>2</sup> Момбаз (Момбаза) — порт на восточном берегу Африки.



Африканцы в Кении

Момбаз остался в моей памяти как жарко-влажный город, упрятанный в лесу, среди пальм и манго, очень живописный, с природной гаванью и старинным португальским фортом, — город столь же европейский, сколь и негритянский и индийский. Мы пробыли там два дня и к вечеру третьего отправились по узкоколейке в Найроби.

Наступала тропическая ночь. Мы ехали вдоль прибрежной полосы, мимо многочисленных негритянских селений, где люди сидели и беседовали, расположившись вокруг небольших костров. Вскоре поезд пошел на подъем, селения исчезли. Опустилась фиолетово-черная ночь. Жара немного спала, и я заснул. Меня разбудили первые лучи солнца; поезд, окутанный красным облаком пыли, как раз огибал оранжево-красный скалистый обрыв. На выступе скалы, опершись на длинное копьё и глядя вниз на поезд, неподвижно стояла тонкая черно-коричневая фигурка. Рядом возвышался гигантский кактус.

Я был околдован необычным зрелищем. Это была встреча с чем-то совершенно чуждым, никогда не виданным мной, но в то же время я ощущал некое сильное *sentiment du déjà vu*<sup>1</sup>. Мне казалось, что я всегда знал этот мир и лишь случайно оказался разделенным с ним во времени. Казалось, будто я возвратился в страну своей юности и знаю этого темнокожего человека — он ждет меня уже пять тысяч лет. Это настроение не покидало меня все время, пока я путешествовал по Африке.

Из Найроби мы на маленьком форде выехали к равнине Атхи, где раскинулся огромный заповедник. С невысокого холма открывался величественный вид на саванну, протянувшуюся до самого горизонта; все покрывали бесчисленные стада животных — зебр, антилоп, газелей и т.д. Жуя траву и медленно покачивая головами, они беззвучно текли вперед, как спокойные реки; это мерное течение лишь иногда прерывалось однотонным криком какой-нибудь хищной птицы. Здесь царил покой извечного начала, это был такой мир, каким он был все-

---

<sup>1</sup> Чувство узнавания (*фр.*).